

# «ОСКОМИНА ИЛЛЮЗИЙ» ИЛИ «ВЛАСТЬ НЕСБЫВШЕГОСЯ»?

А.В. Корневский

**Аннотация.** Статья представляет собой введение к проблематике номера, сфокусированной на теме «утраченных иллюзий». Выбор данной литературной аллюзии обусловлен тем, что проблема переоценки ценностей и разочарования в идеалах является не только сквозным мотивом литературы Нового времени, но и «нервом» всей истории этой эпохи. Переживание утраты иллюзий выходит на первый план в периоды социальных трансформаций и катаклизмов, когда общество осознает необратимость перемен и крушение традиционного жизненного уклада. Разное видение путей развития общества приводит к образованию фракций, всё более расходящихся в понимании подлинных и мнимых ценностей, наделению одних и тех же концептов противоположными смыслами. Пока проблема выбора сохраняет актуальность, этот конфликт может носить латентный характер. Но как только точка невозврата пройдена, одна часть общества принимает новую реальность, постепенно исторгая из памяти «оскомины» несбывшихся надежд, другая – отвергает ее, оставаясь «во власти Несбывшегося». Таким образом, «утраченные иллюзии» – это не только вечная литературная тема, но и ключевая историческая метафора, сопряженная с целым рядом фундаментальных проблем познания прошлого, в первую очередь – проблемы исторической вероятности, альтернатив общественного развития и методологических оснований контрфактического моделирования истории.

**Ключевые слова:** утраченные иллюзии, «власть Несбывшегося», проблема исторического выбора, альтернативы развития, точка невозврата, «сослагательное наклонение истории», контрфактическое моделирование.

**Корневский Андрей Витальевич**, кандидат исторических наук, доцент Института истории и международных отношений, директор Центра междисциплинарного индивидуального гуманитарного образования Южного федерального университета, 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 105/42, koren@sfedu.ru.

# SET ON EDGE OF ILLUSIONS, OR THE POWER OF UNFULFILLED

A.V. Korenevsky

**Abstract.** The article is introduction to the problematics, focused on the theme of “lost illusions”. The choice of this literary allusion due to the fact that the problem of soul-searching and disappointment in ideals is not only a cross-cutting motif of the modern literature, but also the “nerve” of whole history of Modernity. The stress of disillusionment comes to the foreground in times of social transformations and disasters, when society comprehends irreversibility of changes and the collapse of traditional way of life. Difference in views to the development of society lead to the formation of factions, increasingly dissenting from understanding of the true and false values, to enduing of the same concepts with the opposite sense. This conflict can be latent while the problem of choice is urgent. But as soon as the point of no return is passed, one part of the society accepts the new reality, gradually pulling from memory “set on edge” of dashed hopes; the other part rejects it, staying “under the power of Unfulfilled”. Thus, “lost illusions” are not only the eternal theme of literature, but also a key historical metaphor associated with a number of fundamental problems of kenning of the past, first of all – the issue of historical probability, alternatives of social development and methodological principles of counterfactual history modeling.

**Keywords:** lost illusions, “the power of Unfulfilled”, problem of historical choice, point of no return, conjunctive mood of history, counterfactual modeling.

*И мы понимаем, что канули наши кануны...*

Андрей Вознесенский [Вознесенский, 2012, с. 492]

*Рано или поздно, под старость или в расцвете лет, несбывшееся зовет нас, и мы оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел зов.*

Александр Грин [Грин, 1980, с. 3]

Выбор темы данного номера журнала может показаться и очевидным, и небесспорным одновременно. С одной стороны, мы вступаем в год столетия социальных потрясений, приведших к ревизии идеалов и ценностей, утрате одних иллюзий и обретению новых, несопоставимой по масштабу ни с одним другим катаклизмом российской истории. С другой стороны, если воспринимать выражение «утраченные иллюзии» не просто как устойчивое словосочетание, но как литературную аллюзию с отсылкой к конкретному произведению, может возникнуть вопрос: что общего между разочарованиями и надеждами русского общества в фатальном 1917-м и перипетиями судьбы Люсьена Шардона де Рюбампре? Но если расширить угол зрения, выйдя за рамки событийной канвы Русской революции и сюжетной конкретики «Утраченных иллюзий», и представить 1917 год в ряду других сопоставимых по масштабу исторических катастроф, а бальзаковский роман – как квинтэссенцию долгого (и, пожалуй, незавершенного) спора между реализмом и романтизмом, параллели и созвучия станут проступать сами собой.

Суждение о творчестве Оноре де Бальзака как о «вершине в развитии западно-европейского реализма XIX в.» [Петрова, Петраш, 1991, с. 470], а «Человеческой комедии», частью которой и являются «Утраченные иллюзии», как «самой замечательной реалистической истории французского общества» [Энгельс, 1965, с. 36], считается чуть ли не литературоведческим трюизмом. С другой стороны, столь же общепринятым признается мнение, что тема «утраченных иллюзий» значительно шире рамок бальзаковского творчества и даже французского реализма XIX столетия. Так, Георг (Дьердь) Лукач возводил ее генеалогию к Сервантесу: «Первый роман новой истории – “Дон Кихот” – это тоже повесть об “утраченных иллюзиях”». Но в произведении Сервантеса, проникнутом духом нарождающегося буржуазного общества, разрушались, главным образом, пережитки феодальных иллюзий» [Лукач, 1939, с. 202]. Определенное недоверие к данному суждению может вызвать марксистский «новояз», однако нечто подобное писали о «Дон Кихоте» и многие весьма далекие от марксизма писатели и мыслители, в частности – В.В. Набоков и Х.Л. Борхес.

Последний, например, отмечал в одном из своих эссе о Сервантесе: «Беззлбно подшучивая над собой, он выдумал легковверного человека, сбитого с толку чтением небылиц и пустившегося искать подвигов и чудес в прозаических местах с названиями Монтель и Тобосо. Побежденный реальностью и Испанией, Дон Кихот скончался

в родной деревушке в 1614-м. Ненадолго пережил его и Мигель де Сервантес. Для обоих, сновидца и его сна, вся суть сюжета была в противопоставлении двух миров: вымышленного мира рыцарских романов и повседневного, заурядного мира семнадцатого столетия» [Борхес, 1999, с. 149]. Отметим, что сказанное о «беззлобном подшучивании» над собственными иллюзиями (приписанными персонажу) оказывается странным образом созвучным известным словам Маркса о комедии как «последнем фазисе всемирно-исторической формы»: «Почему таков ход истории? Это нужно для того, чтобы человечество *весело* расставалось со своим прошлым» [Маркс, 1957, с. 418]. Немаловажно для нашей темы и то обстоятельство, что слова Маркса также сказаны о писателе и мыслителе слома эпох – Лукиане, в «Беседах» которого «в комической форме» умирают боги Греции.

В.В. Набоков в «Лекциях о “Дон Кихоте”» иначе оценивает юмор Сервантеса, считая его отнюдь не «беззлобным», но также концентрирует внимание на столкновении иллюзий и реальности. Он даже предлагает структурную схему побед и поражений Дон Кихота в этом конфликте, построенную в виде турнирной таблицы спортивного матча. Тем не менее итог противоборства вполне предскажем: «В последней главе романа чародей Сервантес превратит красу и цвет рыцарства, самого Дон Кихота, в раскаявшегося здравомыслящего буржуа» [Набоков, 2002, с. 142].

И хотя Набоков иронизирует по поводу суждений типа «Сервантес дает реалистическую картину буржуазного того-сега» [Набоков, 2002, с. 51], его характеристики «материальной» подоплеку грез Рыцаря Печального Образа, пожалуй, убедили бы любого марксиста. Так, анализируя эпизод сражения Дон Кихота с ветряными мельницами, он замечает, что для Испании того времени они были «модным нововведением» [Набоков, 2002, с. 139]. По свидетельству Гая Дэвенпорта, Набоков, обосновывая эту мысль во время лекции, даже рисовал на доске мельницу и называл разные ее части. Делал он это, дабы объяснить студентам, «почему сельский идальго мог принять ветряные мельницы за гигантов, – они были новшеством в Испании XVII века, последней из стран Европы, куда доходили достижения прогресса» [Дэвенпорт, 2002, с. 20–21].

Эти слова дают нам подсказку для понимания генезиса и последующей эволюции темы «утраченных иллюзий»: они отсылают нас к той исторической драме, которая разворачивалась в Испании рубежа XVI–XVII вв. за кулисами внешнего великолепия «империи, над которой никогда не заходит солнце». Речь идет о так называемой «революции цен», которая стала для Испании расплатой за триумф конкистадоров. Поток благородных металлов, хлынувший из Нового Света (по подсчетам Э. Дж. Гамильтона, он возрос с 1503 по 1600 г. почти в 14 раз [Hamilton, 1929, p. 465]), привел к галопирующей инфляции, фактическому обрушению испанской экономики и обнищанию населения.

На первый взгляд сравнение этой ситуации с эпохой революций во Франции, породившей «бальзаковско-флюберовский» реализм с его заостренным вниманием к теме «утраченных иллюзий», кажется не вполне корректным. Франция

1789–1830 гг. истекла кровью, Испания XVI столетия – деньгами. Но в долгосрочной исторической перспективе последствия «революции цен» оказались для Испании даже более разрушительными, чем гекатомба рубежа XVIII–XIX вв. для Франции: практически полное исчезновение мануфактур, задушенных дешевым импортом, деградация аграрного производства, вторичное закрепощение крестьянства, сельская депопуляция и пауперизация. Одна из петиций 1604 г. (Сервантес в это время дописывал свой роман) рисует мрачную картину: «Кастилия так обезлюдела, что можно видеть деревни, в которых число домов сократилось со 100 до 10, а в других местах не осталось ни одного дома» [Литаврина, 1986, с. 184].

И именно кажущееся внешнее несходство исторических контекстов двух великих романов об «утраченных иллюзиях» позволяет яснее увидеть причинно-следственную связь между этой литературной темой и общественными умонастроениями в эпохи великих социальных потрясений. Во всех этих случаях общество остро переживает необратимость происходящих перемен и крушение привычного жизненного уклада, эрозию идеалов, норм и ценностей, унаследованных от прошлого. Это может приобретать разные формы – бунтарства и дерзкого вызова (как в романах Стендаля и Бальзака), глубокого презрения к реальности (как в творчестве Флобера) или осмеяния ниспровергнутых идолов (как в «Дон Кихоте»). Очевидно, последнее будет в большей мере менее характерно для «ползучих» революций (подобных христианизации Римской империи или эпохе первоначального накопления капитала), растягивающихся на десятилетия или века, но от того не менее беспощадных к «уходящей натуре». В значительно меньшей степени это проявляется в эпохи таких гекатомб, как Французская или Русская революции: что бы ни писал Маркс, человечеству далеко не всегда удается «весело» распрощаться со своим прошлым. Разумеется, люди не отказывают себе в смехе даже во время самых жестоких войн и усобиц, но при таких обстоятельствах юмор приобретает весьма специфические формы: вспомним скоморошество Ивана Грозного, «Всешутейший, Всепянейший и Сумасброднейший Собор» Петра Первого или театрализованные шествия Союза воинствующих безбожников.

Пожалуй, подобного рода юмор правильнее было бы назвать глумлением, а порою такой смех более всего подходит на истерический припадок. Пример тому – записанный К. Икрамовым рассказ Н.И. Бухарина о реакции В.И. Ленина на разгон Учредительного собрания. На исходе долгого обсуждения этого события под «бутылку хорошего вина» в узком кругу вождей «Ильич попросил повторить что-то из рассказанного о разгоне Учредилки и вдруг рассмеялся. Смеялся он долго, повторял про себя слова рассказчика и всё смеялся, смеялся. Вовсю, заразительно, до слез. Хохотал. Мы не сразу поняли, что это истерика» [Икрамов, 1989, с. 78]. Заметим, что уж себя-то Ленин считал подлинным политическим реалистом в противовес фантазерам и красноречивым из «Учредилки». Но как раз поэтому он очень остро осознавал, что именно в этот день он и его партия перешли свой Рубикон. И это расставание с прошлыми иллюзиями (в данном случае – с надеждой на легитимацию октябрьского переворота) было отнюдь не «веселым».

В плане сравнения общественного восприятия лавинообразных социальных катастроф и длительных социальных трансформаций, а также того, как в этих обстоятельствах проявляется мотив «утраченных иллюзий», весьма показательно отражение в русской исторической памяти событий XVII столетия. Этот век мучительной агонии средневековой Руси, отграниченный от остальной истории жестокими испытаниями Смуты и Петровских преобразований, имеет множество прозвищ. Современники называли его «бунташным», историографы XIX в. (и примкнувший к ним Ульянов-Ленин) – «новым периодом русской истории» [Ленин, 1967, с. 153–154; Ключевский, 1988, с. 5–7; Соловьев, 1991, с. 174], Д. С. Лихачев – веком «открытия» человеческого характера [Лихачев, 1958, с. 8].

Все эти определения по-своему верны, но, быть может, самым парадоксальным следует признать прозвище, данное XVII столетию Г. Флоровским, – «испуганный век» [Флоровский, 1937, с. 58]. Причиной этого испуга, по мнению мыслителя, стало осознание обществом необратимости надвигающихся кардинальных перемен в жизни общества и крушения устоявшихся представлений, идеалов и ценностей. И это при том, что внешне прежний строй жизни в XVII в. как будто сохранялся, а едва ли не главной темой общественного дискурса было сбережение старины. Тем не менее, как отмечал Флоровский, это ощущение было обманчивым: «Кажущийся застой XVII-го века не был летаргией или анабиозом. Это было скорее лихорадочное забытье, с кошмарами и видениями. Не спячка, скорее оторопь... Всё сорвано, всё сдвинуто с мест. И самая душа сместилась» [Флоровский, 1937, с. 58].

В качестве метафоры, раскрывающей глубокий смысл данного суждения, может служить сказка Х. Х. Андерсена «Пастушка и трубочист». По ее сюжету влюбленные друг в друга фарфоровые фигурки, обитающие в комнате на подзеркальном столике, решают бежать из опостылевшего мирка и обрести свободу в бескрайнем мире. Трубочист предлагает план спасения через печную трубу. Пастушка соглашается, но когда они поднялись на крышу и их взору открылся необъятный мир, ее обуял страх: «Я не вынесу! Свет слишком велик! Ах, если бы я опять стояла на подзеркальном столике!» [Андерсен, 1980, с. 236].

Не будет большим преувеличением сказать, что в XVII в. всё русское общество разделилось на «пастушек» и «трубочистов»: последних выход страны из самоизоляции во вновь обретенный бескрайний мир окрылил и воодушевил, других же открывшийся горизонт ужаснул своей бескрайностью. Резонерство о старине, о котором писал Флоровский, – это реакция «пастушек», затосковавших о потерянном рае «подзеркального столика». Разумеется, для тех, кто неистово стремился к новому, всё связанное с ненавистной им стариной осмысливалось как ложный идеал и мнимая ценность, тогда как для их оппонентов это и была истина – осмеянная и ошельмованная врагами, но от того не менее дорогая.

Рассмотрение событийной канвы духовного кризиса в России XVII столетия дает богатый материал для понимания проблемы «утраченных иллюзий». Мы воочию

видим, как разное видение путей развития общества приводит к образованию и постепенному взаимному обособлению фракций, все более и более расходящихся в понимании подлинных и мнимых целей и ценностей, наделению одних и тех же концептов диаметрально противоположными смыслами. Истинность «русского благочестия» – вот та тема, которая породила тектонические волны Раскола – не только церковного, но и социокультурного, характеризуемого А.С. Ахиезером как «стойкий длительный разрыв коммуникаций между слоями общества» [Ахиезер, 1998, с. 173].

И как это часто бывает в преддверии социальных потрясений, будущие непримиримые враги могут быть на стадии назревания кризиса вполне солидарны в неприятии действительности и жажде перемен. Прологом к Расколу стало обсуждение проблемы церковных нестроений в «кружке ревнителей благочестия», переросшее в полемику, как только встал вопрос о том, на что ориентироваться при наведении порядка – пример греков или собственную традицию, канонизированную Стоглавым собором. А это побуждало определиться в отношении к идейному базису русского общественного сознания того времени – теории Третьего Рима. Ведь согласно этой доктрине Москва именно в качестве последнего оплота истинного благочестия наследует миссию христианского царства, удерживающего мир от пришествия Антихриста. Дальнейшая эскалация идейного конфликта была поэтому неизбежна. Диалог «ревнителей» обрывается с началом Никоновской реформы, как только светская и духовная власти окончательно определились в своем выборе. Но вплоть до собора 1666–1667 гг. обе стороны, яростно полемизируя, тем не менее не оставляли надежд на вразумление оппонентов. После собора, на котором Стоглавый собор был предан проклятию, общество миновало точку невозврата: власть перешла к открытым репрессиям, а староверы, сделав вывод о падении Третьего Рима и приходе Антихриста, ответили горячи, унесшими около 20 тысяч жизней [Романова, 2012, с. 7]. Каждая из сторон конфликта окончательно и бесповоротно рассталась с прежними иллюзиями, обретя новые.

Флоровский очень точно определяет суть этого конфликта между «реалистами», решительно отрясающими со своих ног прах прежних идеалов, и «мечтателями», не желающими поступиться «иллюзиями»: «Раскол – не старая Русь, но мечта о старине. Раскол есть погребальная грусть о *несбывшейся* и уже *несбыточной* (*курсив мой – А.К.*) мечте» [Флоровский, 1937, с. 67]. И быть может, не так уж неправ был А.Дж. Тойнби, видя во всех последующих поколениях русских «зелотов», включая Ленина и большевиков, наследников староверов [Тойнби, 1995а, с. 108–109; Toynbee, 1934, p. 200–201, 364].

Итак, рассмотрение дихотомии «реальность – иллюзия» в широком историческом контексте неизбежно подводит к выводу, что каждый раз, когда литература и общественное сознание фокусировались на данной проблеме, это было отзвуком переживания свершившегося социального катаклизма и осмысления необратимости произошедших перемен. По сути, это не что иное, как ментальная проекция



ситуации выбора, точнее – того момента, когда развилка дорог осталась позади и возврата уже нет.

Пока проблема выбора сценариев дальнейшего развития сохраняет свою актуальность, предлагаемые варианты решения проблемы могут более или менее свободно (в зависимости от политических, религиозных и иных устоев) конкурировать в общественном дискурсе. Но как только выбор сделан и точка невозврата пройдена, воплотившийся в жизнь сценарий начинает восприниматься как закономерный или, как минимум, более вероятный, чем его альтернатива: то, что произошло, произошло потому, что не могло не произойти. И тогда весь наличный штат историков, философов и прочих теоретиков принимается за доказательство неизбежности случившегося и *несбыточности несбывшегося*: «Что разумно, то действительно, что действительно, то разумно» [Гегель, 1974, с. 89]. А вслед за властями и состоящими при них интеллектуалами общество – по крайней мере, его большинство – постепенно, отчасти по принуждению, отчасти добровольно и даже с энтузиазмом, принимает новую реальность, исторгая из памяти саднящие воспоминания о несбывшихся надеждах и скомпрометированных идеалах:

Все изменилось – жизнь и люди, любимой взгляд,  
И лишь оскомина иллюзий внутри, как яд [Евтушенко, 1989, с. 241].

Но в подобных ситуациях всегда находятся и те, кто не готов поступиться «иллюзиями», ведомые тем, что «последний романтик» Александр Грин назвал «властью Несбывшегося» [Грин, 1980, с. 3]. Власть эту ощущают по-разному: одни пытаются жить так, будто ничего не изменилось, другие впадают в ностальгический ступор, третьи вступают в конфронтацию с новой реальностью. Отношение к «романтикам» со стороны тех, кто принял свершившиеся перемены, тоже разное: часть общества видит в их протесте угрозу поступательному движению к прогрессу, другая – наивное (и в чем-то даже симпатичное) донкихотство, литература же традиционно окружает бунтарей и мечтателей героическим ореолом: «Безумству храбрых поем мы славу! Безумство храбрых – вот мудрость жизни!». Однако, во-первых, безумство – родная сестра отчаяния, тогда как подлинное мужество есть осознанный волевой акт, совершенный в ясном сознании и понимании перспектив содеянного. Во-вторых, бегство от реальности в мечту, прошлое, иллюзию все-таки продиктовано – хотя бы отчасти – страхом перед этой реальностью, а в этом, право же, нет ничего героического. И наконец, «last but not least», XX век и начавшееся XXI столетие воочию показали, чем оборачивается романтизм в политике: когда кто-то пытается воплотить в жизнь «вековые мечты» – будь то «свобода, равенство, братство», Вечный Рейх или халифат, – человечеству это не сулит ничего хорошего.

Итак, дихотомия «реальность – иллюзия» – это не только извечная литературная тема, но и проблема целого ряда гуманитарных областей знания – философии, этики, политологии и т. д. Но в какой мере это относится к области знания



исторического? Может ли и должна ли история, будучи наукой «прежде всего о конкретном и индивидуальном» [Гуревич, 1998, с. 23], а значит – запечатленном в источниках, изучать гипотетические альтернативы – то, чего не было, не случилось?

С некоторых пор в нашей околоисторической публицистике стало почитаться за хороший тон «пресекать» подобные споры заявлениями о том, что она-де, история, «не знает сослагательного наклонения». Иногда это говорится в извиняющемся тоне: мол, знаем, что сия истина священна и непреложна, но все-таки хочется порой пофантазировать... Так, рассказывая об обстоятельствах появления «Размышлений над Февральской революцией» А.И. Солженицына, его вдова поделилась следующим откровением: «В “Размышлениях” он постоянно обрывал себя: мол, история не терпит сослагательного наклонения, и тут же опять писал: если бы... не запретишь ведь себе думать, как развивалась бы история нашей страны, не проскочи она по ошибке, невнимательности или недоумию вождей важный поворот...» [Солженицына, Нордвик, 2017, с. 11].

Гораздо чаще «сослагательно наклонение» отвергается с категоричностью отставного урядника из села Блины-Съедены: «Этого не может быть, потому что не может быть никогда!». И точка! Нет у истории сослагательного наклонения. Не положено.

А, собственно, почему нет? Пусть не вводит нас в заблуждение омонимичность слова «история», означающего и процесс, «*res gestae* – действия людей, совершенные в прошлом» [Коллингвуд, 1980, с. 13], и осмысление этого процесса, «науку о людях во времени» [Блок, 1986, с. 18]. Если речь идет о первом, то это трюизм, недостойный пространных рассуждений, если же о втором, – то без «сослагательного наклонения» никак не обойтись.

Цицерон называл историю «наставницей жизни», но какое назидание можно извлечь из знания о прошлом, если считать, что все произошедшее произошло потому, что не могло не произойти? Мало того, считая себя творцами своей судьбы, мы отказываем в этом своим предкам: это мы, принимая решение, скрупулезно взвешиваем все «за» и «против», просчитываем последствия, прописываем сценарии, а над ними довлел фатум «исторической закономерности», сиречь неизбежности.

В.О. Ключевский, объясняя, чем отличается «университетская» история от «гимназической», писал: «Учитель истории рассказывает ученикам, что *было*; профессор рассуждает со студентами, что это былое *значило*» [Ключевский, 1991, с. 522]. Иными словами, подлинная историческая наука не может ограничиваться ответами на вопросы «что? где? когда?», побуждая к вопрошанию «почему и как?». А за этими главными историческими вопросами с логической неизбежностью должно следовать: «Почему это произошло так, а не иначе? И могло ли произойти иначе?». Предельно точно и емко сформулировал суть этой коллизии А.Я. Гуревич: «Если мы исходим из положения, что одним из признаков конкретной исторической закономерности является то, что она выступает как равнодействующая участвующих в движении социальных сил, как своего рода средняя статистическая всех

действующих в данный момент одинаково и разно направленных волей, то не следует ли предположить в каждый такой момент возможность и различных вариантов исторического развития? Те или иные компоненты, взаимодействие которых порождает историческое движение, могут иметь различную силу и направленность, и от изменений этих факторов зависит изменение результирующей равнодействующей» [Гуревич, 1965, с. 23–24].

Но так ли безобидно утверждение о «сослагательном наклонении»? Пожалуй, стоит напомнить, что в оригинале оно звучало несколько иначе: «Историку ... запрещено сослагательное наклонение» [Нечкина, 1975, с. 345], – так отвечала М.В. Нечкина на смущавшие ее научную совесть вопросы о том, что было бы, если бы декабристы победили. Да и что она могла ответить? Что славные зачинатели российского революционного движения планировали такое увеличение репрессивного аппарата, какое не снилось Николаю «Палкину»? Что если бы они и одержали верх 14 декабря, то у них не было шансов удержать власть без большой крови? Зачем бросать тень на тех, чьиими именами называли улицы и площади, университеты и библиотеки. Лучше «закрыть тему», сказав, что подобные предположения «запрещены». Кем запрещены? Кем надо, тем и запрещены.

Согласимся с В.Г. Хоросом: «Такой подход, по сути, убивает историю как науку. Ведь если историк лишь констатирует то, что было, и задним числом подыскивает этому объяснение, то он покидает почву научного анализа и становится пассивным регистратором событий, если не их апологетом» [Хорос, 1996, с. 153].

Таким образом, если над историком не довлеют идеологические, политические и иные запреты, он не только может, но и должен задаваться подобными вопросами. По большому счету, данная постановка вопроса – лишь частный случай фундаментальной проблемы познания прошлого – проблемы исторической вероятности, особенно актуальной для новейшей истории, сплошь состоящей из развилок, перекрестков, а порою напоминающей борхесовский «сад расходящихся тропок». И именно в XX столетии грань между реальностью и иллюзией оказалась невероятно зыбкой, поскольку ни в один другой век человечество не сталкивалось со столь частыми поворотными моментами в своей истории, каждый из которых был сопряжен с мучительной переоценкой ценностей. Уплотнение исторического времени привело к тому, что само его движение, едва заметное в доиндустриальную эпоху, вдруг стало очевидным в XVIII в., породив наивную и восторженную веру в «прогресс», в следующем столетии ставшую почти религией. К исходу XIX в. это чувство исторического оптимизма в промышленно развитых странах, и прежде всего, в Великобритании, приняло просто гротескные формы. Размышляя об уроках и последствиях этого всеобщего самообмана и самопоуения викторианской эпохи с полувековой временной дистанции, А.Дж. Тойнби писал, что «эта иллюзия английского среднего класса конца прошлого века кажется нам чистым помешательством» [Тойнби, 1995с, с. 29]. Тем острее эти люди, «зачарованные и ослепленные процветанием» [Тойнби, 1995b, с. 35], должны были пережить разочарования следующего столетия, когда все прекраснотушные мечтания «века

прогресса» обернулись «веком крайностей», «эпохой катастроф», как назвал период между 1914 и 1991 гг. («короткий двадцатый век») Эрик Хобсбаум. Приступая к книге с таким названием, он писал: «Я хочу понять и объяснить, почему история повернула именно в том, а не в другом направлении, и проследить связь между событиями» [Хобсбаум, 2004, с. 13].

Но как получить искомое знание, не ограничиваясь одной лишь интуицией? Ответом могут служить слова старшего современника и коллеги Э. Хобсбаума: «Историк, спрашивающий себя о вероятности минувшего события, по существу лишь пытается смелым броском мысли перенестись во время, предшествовавшее этому событию, чтобы оценить его шансы, какими они представлялись накануне его осуществления» [Блок, 1986, с. 71].

Однако куда как легче поставить проблему альтернативных исторических сценариев, чем воплотить этот подход в исследовательской практике. Как бы ни стремился историк к беспристрастности и взвешенности оценок, главным препятствием для объективного сравнительного анализа исторических альтернатив будет знание историка о том, какая из них реализовалась, а какая – нет. Историка мешает то, что он смотрит на события из будущего и знает, чем они завершились, тогда как людям прошлого именно несбывшийся сценарий мог казаться вполне реалистическим, а то, что стало реальностью, – несбыточной иллюзией. Вполне резонное методологическое суждение на сей предмет высказано С.А. Экштутом: «Я склонен в качестве гипотезы предложить следующее объяснение. Некогда Шкловский говорил, что принцип остраннения является универсальным принципом везде, где есть художественный образ. Что такое остраннение? Это когда автор вместо иллюзии узнавания вещи дает ее описание как незнакомой. По сути, всякий исследователь, отлично зная ответ на задачу, который дала история, пытается писать свой текст, не подгоняя его под этот ответ, а рассматривает историю, как сказал бы Бахтин, в ее незавершенности. Он как бы забывает о том, что он знает ответ» [Экштут, 2000, с. 34].

Попутно заметим, что обсуждая данную методологическую проблему, С.А. Экштут, как и целый ряд других исследователей, предпочитает использовать вместо термина «альтернативная история» понятие «контрфактическое моделирование», что имеет весьма глубокий смысл. Согласимся с И.Н. Данилевским: применение термина «альтернатива» к «несбывшемуся» может внести изрядную путаницу, поскольку в истории ситуации выбора далеко не всегда были одномоментными, а различные «альтернативные» сценарии исторического развития могли реально и достаточно долго сосуществовать во времени и пространстве: «Примером такой альтернативы “классической” истории (Северо-Восточной) Руси была, как мне представляется, – отмечает И.Н. Данилевский, – история Великого княжества Литовского – история, альтернативная той, к которой мы привыкли еще со средней школы. Это история реализации принципиально иной социокультурной модели развития потомков восточных славян. Для Северо-Восточной Руси она в *какой-то* мере может служить своеобразной моделью того, что могло бы происходить здесь,

если бы...» [Данилевский, 2000, с. 38–39]. Добавим лишь, что Великое княжество Литовское (точнее – Великое княжество Литовское и Русское) было не единственной альтернативой «ориентализированной» модели, реализованной московской династией. Иные варианты социально-политического развития, более близкого к древнерусским истокам, но типологически близкого Западной Руси, демонстрируют Новгород и Тверь.

На этом примере длительного сосуществования альтернативных сценариев развития видно, сколь часто здесь возникали «точки бифуркации», когда ничтожный перевес на чаше весов делал реальностью отнюдь не самую очевидную перспективу. И легко нам, «крепким задним умом», записывать в графу «иллюзии» упорное стремление тверских князей следовать христианской морали и кодексу воинской чести в противовес «реалистам» из гнезда Калиты, не обременявшим себя подобными условностями. Очевидно, именно такая «утрата иллюзий» и готовность действовать «применительно к подлости» обеспечили победу московской династии и торжество «восточной», а не «западной» (Вильно – Тверь – Новгород) модели развития. Но тогда почему на протяжении полутора веков столько раз униженная и растоптанная Тверь, подобно Фениксу, возрождалась из пепла? И почему московские князья всякий раз, едва укрепив свое материальное положение, тут же принимались за обеление собственной репутации, стремясь доказать обществу, что они не менее благородны и благочестивы, чем их конкуренты? И почему московские летописцы нередко с такой симпатией писали о злейших врагах своих повелителей – литовских князьях, как, например, в «некрологе» Ольгерда: он хоть и назван «безбожным и нечестивым», но при этом признается, что «великоумство и въздержаніе приобрѣте себѣ, крѣпку думу отъ сего и многъ промыслъ притяжавъ» [Симеоновская летопись, с. 118]. Выходит, моральное кредо тверских и литовских князей отнюдь не было пустой фанаберией, а представляло собой *реальный* политический фактор, с чем московские князья не могли не считаться!

Проблема демаркации «иллюзии» и «реальности» в истории может показаться еще более запутанной, если осознать, что порою вектор выбора может быть направлен не только в будущее, но и в минувшие века. Всем известна язвительная сентенция о России как о стране с «непредсказуемым прошлым», но справедливости ради следует заметить, что наше отечество – отнюдь не исключение. Многие страны и народы оказывались в ситуации выбора, фактически – присвоения прошлого. Одним из самых известных примеров «борьбы за прошлое» в условиях нацистроительства является полемика между «татаристами» и «булгаристами» – «“первый спор” в татарской историографии» [Цвиклински, 2003], разгоревшийся во второй половине XIX в. и с новой силой вспыхнувший в годы Перестройки. По сути, вопрос заключался в том, какую линию исторической преемственности мусульманского тюркоязычного населения Волжско-Камского бассейна следует признать *реальной* и достойной всяческого возвеличивания, а какую – досадным отступлением от «мэйнстрима». Одним казалась более престижной история волжских булгар с артикуляцией на религиозных и культурных ценностях, другим импонировало державное величие Золотой Орды.

Мотивом подобного присвоения прошлого стала и упомянутая ранее историческая альтернатива в развитии Северо-Восточной и Западной Руси. В современной Белоруссии «Днем воинской славы» считается 8 сентября, но это отнюдь не в память о Куликовской битве, в которой, как известно, значимую роль сыграли западнорусские дружины. Принятие воинской присяги, перфомансы, флэшмобы и даже бои подушками посвящены «самой большой в белорусской ратной истории» Оршанской битве 1514 г., которая «надолго остановила российскую экспансию» [Галко, 2012]. Таким образом, сегодняшняя национальная белорусская идентичность конструируется путем присвоения истории Великого княжества Литовского.

Особенно склонны к манипулированию исторической памятью (с превращением реальности в иллюзию и обратно) тоталитарные общества – вспомним оруэлловское «министерство правды». Ярким примером тому служат метания нацистской пропаганды в отношении так называемой Верденской резни – казни 4500 язычников-саксов по приказу Карла Великого в 782 г. Первоначально идеологи нацизма, в целом враждебно относившиеся к христианству и, наоборот, поднимавшие на щит германское язычество, вознамерились превратить это событие в «место памяти». В 1935 г. здесь был построен мемориал, открывая который Гиммлер – один из главных творцов нацистского неоязыческого культа – восклицал: «Тогда пали 4500 голов, не пожелавших склониться, ныне же гордо поднятые головы никогда не склонятся вновь!» [Arnold, 2006, p. 167]. Однако с точки зрения Гитлера имперская идея, олицетворяемая Карлом Великим, была более значима для Третьего Рейха, чем память о павших язычниках-саксах, а потому коммеморация Верденской резни не получила дальнейшего развития.

Таким образом, «сослагательное наклонение» в истории – отнюдь не игра праздного ума, а реальная и сложная исследовательская проблема. Однако правомерность постановки задачи еще не означает ее разрешимости. Контрфактическое моделирование можно рассматривать как средство избавления от иллюзии исторического фатализма, но при отсутствии должной методологической строгости оно само может плодить иллюзии. Как верно заметил Алан Меггилл, следует иметь в виду различия между «умеренной» и «неограниченной» контрфактической историей: «“Умеренная” контрфактическая история занимается подробным обсуждением тех альтернативных возможностей, которые существовали в реальном прошлом, тогда как “неограниченная” контрфактическая история работает с прошлыми историческими последствиями, которые фактически никогда не возникали» [Меггилл, 2007, с. 450]. Развивая эту важную мысль, Меггилл поясняет, что исходной точкой контрфактического моделирования является точка неопределенности, т. е. ситуация, когда историческим актором могло быть принято иное решение и события могли бы развиваться в ином направлении. Однако «неопределенность – это не поезд, на который можно сесть и с которого можно сойти, когда захочешь», точнее – контрфактический сценарий развития событий «можно проследить до того момента, когда возникает следующая ситуация неопределенности» [Меггилл, 2007, с. 452]. Если воспользоваться математической параллелью, можно сказать, что уравнение

с одним неизвестным решаемо, с двумя и более – нет. Когда историк отталкивается от реальной, подтверждаемой источниками точки неопределенности, его анализ может быть вполне корректным и обоснованным, но когда в своей контрфактической модели он подходит к новой ситуации неопределенности, которая реально никогда не существовала, а является всего лишь гипотезой, дальнейшее продвижение по этому пути означает выход за пределы научной истории. Иными словами, можно, не покидая научной почвы, обсуждать степень вероятности успеха восстания на Сенатской площади, но когда гипотетические последствия победы декабристов пролонгируются до Крымской, Русско-японской и даже Первой мировой войн [Нехамкин, Нехамкин, 2006], это уже больше походит на «фэнтези».

Итак, мы видим, что тема «утраченных иллюзий» сопряжена с целым рядом фундаментальных проблем исторического опознания, а ее проявления в жизни общества столь многообразны, что было бы наивно рассчитывать на целостный охват всей этой проблематики в данном тематическом номере журнала или во вводной статье к нему. Задача виделась нам скромнее: дать старт обсуждению этой проблемы, сфокусировав внимание лишь на некоторых, важных с нашей точки зрения и не всегда очевидных, аспектах.

## ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

Андерсен Х.Х. Сказки и истории. М.: Правда, 1980. 528 с.

Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта (социокультурная динамика России). Новосибирск: Сибирский хронограф, 1998. Т. 1. От прошлого к будущему. 804 с.

Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М.: Наука, 1986. 256 с.

Борхес Х.Л. Притча о Сервантесе и Дон Кихоте // Борхес Х.Л. Рассказы: Серия «Классики XX века». Ростов н/Д: Феникс; Харьков: Фолио, 1999. С. 149.

Вознесенский А.А. Лонжюмо // Вознесенский А.А. Полное собрание стихотворений и поэм в одном томе. М.: Изд. Альфа-книга, 2012. С. 492–496.

Галко Д. День белорусской воинской славы: победа под Оршей надолго остановила российскую экспансию // Народная воля. 08.09.2012. URL: <http://www.nv-online.info/by/312/society/50584> (дата обращения: 08.09.2012).

Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. М.: Мысль, 1974. Т. 1. Наука логики. 452 с.

Грин А.С. Бегущая по волнам // Грин А.С. Собрание сочинений в шести томах. М.: Правда, 1980. Т. 5. С. 3–188.

Гуревич А.Я. Общий закон и конкретная закономерность истории // Вопросы истории. 1965. № 8. С. 14–30.

Гуревич А.Я. Теория формаций и реальность истории // Культура и общество в Средние века – раннее Новое время. Методика и методология

современных историко-антропологических и социокультурных исследований / отв. ред. А.Л. Ястребицкая. М.: ИНИОН, 1998. С. 10–33.

Данилевский И.Н. Соблазн альтернативы // *Одиссей. Человек в истории*. М.: Наука, 2000. С. 37–39.

Дэвенпорт Г. Предисловие // *Набоков В.В. Лекции о «Дон Кихоте»* / пер. с англ.; предисл. Ф. Бауэрса, Г. Дэвенпорта. М.: Издательство Независимая Газета, 2002. С. 15–24.

Евтушенко Е.А. Простая песенка Булата // *Граждане, послушайте меня...* М.: Художественная литература, 1989. 495 с.

Икрамов К. Дело моего отца. Роман-хроника // *Знамя*. 1989. № 5. С. 35–90.

Ключевский В.О. Курс русской истории. Часть 3 // *Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах*. М.: Мысль, 1988. Т. 3. 416 с.

Ключевский В.О. Исторические портреты. М.: Правда, 1991. 533 с.

Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография. М.: Наука, 1980. 486 с.

Ленин В.И. Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов // *Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Издание пятое*. М.: Издательство политической литературы, 1967. Т. 1. С. 125–346.

Литаврина Э.Э. Крестьянство Испании и Португалии в XVI–XVIII вв. // *История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. Том третий. Крестьянство Европы в период разложения феодализма и зарождения капиталистических отношений*. М.: Наука, 1986. С. 175–200.

Лихачев Д.С. Человек в литературе древней Руси. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1958. 186 с.

Лукач Г. К истории реализма. М.: Гослитиздат, 1939. 371 с.

Маркс К. К критике гегелевской философии права. Введение // *Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Издание 2-е*. М.: Издательство политической литературы, 1957. Т. 1. С. 414–429.

Мегилл А. Историческая эпистемология. М.: Канон+, 2007. 480 с.

Набоков В.В. Лекции о «Дон Кихоте» / пер. с англ.; предисл. Ф. Бауэрса, Г. Дэвенпорта. М.: Издательство Независимая Газета, 2002. 328 с.

Нехамкин В.А., Нехамкин А.Н. Если бы победили декабристы... // *Вестник Российской академии наук*. 2006. Т. 76. № 9. С. 805–812.

Нечкина М.В. День 14 декабря 1825 года. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Мысль, 1975. 398 с.

Петрова Е.А., Петраш Е.Г. Французская литература: реализм // *История зарубежной литературы XIX века* / под ред. Н.А. Соловьевой. М.: Высшая школа, 1991. С. 429–531.

Романова Е. Массовые самосожжения старообрядцев России в XVI–XIX веках. СПб.: Европейский университет в Санкт-Петербурге, 2012. 288 с.



- Симеоновская летопись // Полное собрание русских летописей. Т. XVIII. СПб.: Типография М.А. Александрова, 1913. 316 с.
- Солженицына Н.Д., Нордвик В. Весь текст пронизан болью // *Родина*. 2017. № 2. С. 5–14.
- Соловьев С.М. История России с древнейших времен // *Соловьев С.М. Сочинения*: В 18 кн. М.: Мысль, 1991. Кн. 7. 704 с.
- Тойнби А.Дж. Византийское наследие России // *Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории*. М.: Изд. группа «Прогресс», «Культура»; СПб.: Ювента, 1995а. С. 105–114.
- Тойнби А.Дж. Повторяется ли история? // *Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории*. М.: Изд. группа «Прогресс», «Культура»; СПб.: Ювента, 1995b. С. 35–41.
- Тойнби А.Дж. Современный момент в истории // *Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории*. М.: Изд. группа «Прогресс», «Культура»; СПб.: Ювента, 1995с. С. 28–34.
- Флоровский Г. Пути русского богословия. Париж, 1937 (репринт: Вильнюс: Вильнюсское православное епархиальное управление, 1991). 601 с.
- Хобсбаум Э. Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век (1914–1991). М.: Издательство Независимая Газета, 2004. 632 с.
- Хорос В.Г. Русская история в сравнительном освещении. М.: Центр гуманитарного образования, 1996. 170 с.
- Цвиклински С. Татаризм vs. Булгаризм: «первый спор» в татарской историографии // *Ab Imperio*. 2003. № 2. С. 361–392.
- Экштут С.А. Контрфактическое моделирование, развилки и случайности в русской истории и культуре // *Одиссей. Человек в истории*. М.: Наука, 2000. С. 33–36.
- Энгельс Ф. Письмо к Маргарет Гаркнесс // *Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения*. Издание 2-е. М.: Издательство политической литературы, 1965. Т. 37. С. 35–37.
- Arnold B. Pseudoarcheology and nationalism. Essentializing difference // *Archeological Fantasies: How pseudoarchaeology misrepresents the past and misleads the public*. Ed. Garrett G. Fagan. London: Routledge, 2006. P. 154–179.
- Hamilton E.J. Imports of American gold and silver into Spain, 1503–1660 // *The Quarterly Journal of Economics*. 1929. V. 43. Issue 3. P. 436–472.
- Toynbee A.J. *A Study of history*. London; New York; Toronto: Oxford University Press, 1934. V. 3. 551 p.

## REFERENCES

- Andersen H.C. *Skazki i istorii* [Fairy-tales and stories]. Moscow: Pravda, 1980. 528 p. (in Russian).
- Akhiezer A.S. *Rossiya: kritika istoricheskogo opyta (sotsiokul'turnaya dinamika Rossii)*. [Russia: the critics of the historical experience (sociocultural dynamics of Russia)].

Novosibirsk: Sibirsky chronograph, 1998. V. 1. From the past to the future. 804 p. (in Russian).

Bloch M. *Apologiya istorii, ili Remeslo istorika* [Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien]. Moscow: Nauka, 1986. 256 p. (in Russian).

Borges J.L. Pritcha o Servantese i Don Kikhote [The story about Cervantes and Don Quixot], in: Borges J.L. *Rasskazy: Seriya "Klassiki XX veka"* [Novels. Series "Classics of the 20<sup>th</sup> century"]. Rostov-on-Don: Phoenix; Kharkiv: Pholio, 1999. P. 149 (in Russian).

Voznesensky A.A. Lonzhyumo [Lonjumo], in: Voznesensky A. *Polnoye sobraniye stikhotvorenyy i poem v odnom tome* [Complete collection of novels and poems in one volume]. Moscow: Alfa-kniga, 2012. P. 492–496 (in Russian).

Galko D. Den' belorusskoy voinskoy slavy: pobeda pod Orshey nadolgo ostanovila rossiyskuyu ekspansiyu [The day of Belarusian military glory: the victory of Orsha permanently stopped Russian expansion], in: *Narodnaya volya* [People's will]. 08.09.2012. URL: <http://www.nv-online.info/by/312/society/50584> (available at: 08.09.2012) (in Russian).

Hegel H.V.F. *Entsiklopediya filosofskikh nauk. T. 1. Nauka logiki* [Encyclopedia of philosophical sciences. V. 1. The science of logic]. Moscow: Mysl', 1974. 452 p. (in Russian).

Grin A. Begushchaya po volnam [The Running on the waves], in: Grin A. *Sobraniye sochineniy v shesti tomakh* [Collection of works in 6 volumes]. Moscow: Pravda, 1980. V. 5. P. 3–188 (in Russian).

Gurevich A.A. Obshchiy zakon i konkretnaya zakonomernost' istorii [General law and a particular pattern of history], in: *Voprosy istorii* [Issues of history]. 1965. No. 8. P. 14–30 (in Russian).

Gurevich A. Teoriya formatsiy i real'nost' istorii [The Theory of formations and reality of history], in: *Kul'tura i obshchestvo v Sredniye veka – ranneye Novoye vremya. Metodika i metodologiya sovremennykh istoriko-antropologicheskikh i sotsiokul'turnykh issledovaniy* [Culture and society in Middle Ages – early New Times. The Method and methodology of modern historical and anthropological and sociocultural studies]. Moscow: INION, 1998. P. 10–33 (in Russian).

Danilevsky I.N. Soblazn al'ternativy [Temptation of alternative], in: *Odissey. Chelovek v istorii* [Odissey. The man in history]. Moscow: Nauka, 2000. P. 37–39 (in Russian).

Davenport G. Predisloviye [Introduction], in: Nabokov V. *Lektsii o "Don Kikhote"* [Lectures on "Don Quixot"]. Moscow: Nezavisimaya Gazeta, 2002. P. 15–24 (in Russian).

Evtushenko E.A. Prostaya pesenka Bulata [Simple song by Bulat], in: *Grazhdane, poslushayte menya ...* [Citizens, listen to me ...]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura, 1989. 495 p. (in Russian).

Ikramov K. Delo moyego ottsa. Roman-khronika [The business of my father. Novel-chronicle], in: *Znanya*. 1989. No. 5. P. 35–90 (in Russian).

Klyuchevsky V.O. Kurs russkoy istorii. Chast' 3 [The course on Russian history. Unit 3], in: Klyuchevsky V.O. *Sochineniya v devyati tomakh* [Collection of works in 9 volumes]. Moscow: Mysl', 1988. V. 3. 416 p. (in Russian).

Klyuchevsky V.O. *Istoricheskiye portrety* [Historical portraits]. Moscow: Pravda, 1991. 533 p. (in Russian).

Collingwood R.G. *Ideya istorii. Avtobiografiya* [The idea of history. Autobiography]. Moscow: Nauka, 1980. 486 p. (in Russian).

Lenin V.I. Chto takoye "druz'ya naroda" i kak oni voyuyut protiv sotsial-demokratov [What "friends of the people" are and how they fight against the social-democrats], in: Lenin V.I. *Polnoye sobraniye sochineniy. Izdaniye pyatoye* [Full collection of works. Fifth edition]. Moscow: Izdatel'stvo politicheskoi literatury, 1967. V. 1. P. 125–346 (in Russian).

Litavrina E.E. Krest'yanstvo Ispanii i Portugalii v XVI–XVIII vv. [Peasantry of Spain and Portugal in 16–18 centuries], in: *Istoriya krest'yanstva v Yevrope. Epokha feodalizma. Tom tretiy. Krest'yanstvo Yevropy v period razlozheniya feodalizma i zarozhdeniya kapitalisticheskikh otnosheniy* [History of peasantry in Europe. Feudalism epoch. V. 3. The peasantry of Europe in the period of decomposition of feudalism and raising of capitalist relations]. Moscow: Nauka, 1986. P. 175–200 (in Russian).

Likhachev D.S. *Chelovek v literature drevney Rusi* [A man in the literature of the Ancient Russia]. Moscow; Leningrad: Academy of Science Press, 1958. 186 p. (in Russian).

Lukach G. *K istorii realizma* [To the history of realism]. Moscow: Goslitizdat, 1939. 371 p. (in Russian).

Marx K. K kritike gegelevskoy filosofii prava. Vvedeniye [To the critique of Hegel's philosophy of law. Introduction], in: Marx K., Engels F. *Sochineniya. Izdaniye vtoroye* [Essays. Second edition]. Moscow: Izdatelstvo politicheskoi literatury, 1957. P. 414–429 (in Russian).

Megill A. *Istoricheskaya epistimologiya* [Historical epistemology]. Moscow: Kanon+, 2007. 408 p. (in Russian).

Nabokov V.V. *Lektsii o "Don Kikhote"* [Lectures on "Don Quixot"]. Moscow: Izdatelstvo Nezavisimaya Gazeta, 2002. 328 p. (in Russian).

Nekhamkin V.A., Nekhamkin A.N. Yesli by pobedili dekabristy ... [If the Decembrists won ...], in: *Vestnik Rossiyskoy akademii nauk*. 2006. V. 76. No. 9. P. 805–812 (in Russian).

Nechkina M.V. *Den' 14 dekabrya 1825 goda. Izd. 2-ye, pererabotannoye i dopolnennoye* [The Date of 14<sup>th</sup> December 1825. Second edition]. Moscow: Mysl, 1975. 398 p. (in Russian).

Petrova E.A., Petrash E.G. Frantsuzskaya literatura: realizm [French literature: realism], in: *Istoriya zarubezhnoy literatury XIX veka* [History of foreign literature of 19<sup>th</sup> century]. Moscow: Vysshaya shkola, 1991. P. 429–531 (in Russian).

Romanova E. *Massovyie samosozhzheniya staroobryadtsev Rossii v XVI–XIX vekakh* [Mass immolation of the old believers of Russia in 16–19 centuries]. St. Petersburg: European University in St. Petersburg, 2012. 288 p. (in Russian).

Simeonovskaya letopis' [Simeonov Chronicle], in: *Polnoye sobraniye russkikh letopisey* [Full collection of Russian Chronicles]. V. 18. St. Petersburg: Tipographia Alexandrova, 1913. 316 p. (in Russian).

- Solzhenitsyna N.D., Nordwick V. Ves' tekst pronizan bol'yu [The entire text is riddled with pain], in: *Rodina*. 2017. No. 2. P. 5–14 (in Russian).
- Soloviev S.M. Istoriya Rossii s drevneyshikh vremen [History of Russia from the ancient times], in: Soloviev S. *Sochineniya: V 18 kn.* [Essays. In 18 volumes]. V. 7. Moscow: Mysl, 1991. 704 p. (in Russian).
- Toynbee A. Vizantiyskoye naslediyе Rossii [The Byzantine heritage of Russia], in: Toynbee A. *Tsivilizatsiya pered sudom istorii* [Civilization before the court of history]. Moscow: Progress, Cultura; St. Petersburg: Yuventa, 1995. P. 105–114 (in Russian).
- Toynbee A. Povtoryayetsya li istoriya? [Does history repeat?], in: Toynbee A. *Tsivilizatsiya pered sudom istorii* [Civilization before the court of history]. Moscow: Progress, Cultura; St. Petersburg: Yuventa, 1995. P. 35–41 (in Russian).
- Toynbee A. Sovremennyy moment v istorii [The contemporary moment in history], in: Toynbee A. *Tsivilizatsiya pered sudom istorii* [Civilization before the court of history]. Moscow: Progress, Cultura; SPb.: Yuventa, 1995. P. 28–34 (in Russian).
- Florovsky G. *Puti russkogo bogosloviya* [Paths of Russian theology]. Paris, 1937 (Reprint: Vilnius: Vilnius Orthodox Office, 1991). 601 p. (in Russian).
- Hobsbaum E. *Epokha kraynostey: Korotkiy dvadtsatyy vek (1914–1991)* [The age of extremes: the short twentieth century (1914–1991)]. Moscow: Nezavisimaya Gazeta, 2004. 632 p. (in Russian).
- Khoros V.G. *Russkaya istoriya v sravnitel'nom osveshchenii* [Russian history in comparative representation]. Moscow: Centr gumanitarnogo obrazovaniya, 1996. 170 p. (in Russian).
- Cviklinsky S. Tatarizm protiv Bulgarizm: "pervyy spor" v tatarskoy istoriografii [Tatrisim vs Bulgarism: 'the first dispute' in the Tatar historiography], in: *Ab Imperio*. 2003. V. 2. P. 361–392 (in Russian).
- Ekshtut S.A. Kontrfakticheskoye modelirovaniye, razvilki i sluchaynosti v russkoy istorii i kul'ture [Counterfactual modelling, bifurcation and accidents in Russian history and culture], in: *Odyssey. Chelovek v istorii* [Odyssey. A man in history]. Moscow: Nauka, 2000. P. 33–36 (in Russian).
- Engels F. Pis'mo k Margaret Garkness [The letter to Margaret Garkness], in: Marx K., Engels F. *Sochineniya. Izdaniye vtoroye* [Essays. Second edition]. Moscow: Izdatelstvo politicheskoy literatury, 1965. V. 37. P. 35–37 (in Russian).
- Arnold B. Pseudoarcheology and nationalism. Essentializing difference, in: *Archeological Fantasies: How pseudoarchaeology misrepresents the past and misleads the public*. Ed. Garrett G. Fagan. London: Routledge, 2006. P. 154–179.
- Hamilton E.J. Imports of American gold and silver into Spain, 1503–1660, in: *The Quarterly Journal of Economics*. 1929. V. 43. Issue 3. P. 436–472.
- Toynbee A.J. *A Study of history*. London; New York; Toronto: Oxford University Press, 1934. V. 3. 551 p.